



Клейн Л.С. *История антропологических учений* / Под ред. Л.Б. Вишняцкого. СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2014. 744 с.

Предложение Льва Самойловича Клейна написать рецензию на «Историю антропологических учений» отвергнуть было никак нельзя. Во второй половине 1990-х, когда я только начал читать в Европейском университете курс по истории и теории культурной антропологии (сейчас он называется «Классика антропологии»), именно Клейн был моим предшественником. Его опубликованная, наконец, книга уже тогда была в основном готова, так что ее электронный вариант, которым Лев Самойлович щедро делился, оказался в лекциях важным подспорьем. Прошло несколько лет, прежде чем я смог отстраниться от «клеяновской» версии истории антропологии и следовать собственной, но в текст «Истории антропологических учений» заглядывал и позже. Вместе с тем писать об этой книге сейчас — значит вернуться в достаточно далекое прошлое. Такое возвращение всегда проблематично. Идеи и выводы, сохранившие свою актуальность, воспринимаются как должное, зато заметней становятся спорные моменты. Как здесь сохранить объективность? В моей рецензии критическая сторона будет преобладать. Однако, обратившись ко мне, Лев Самойлович наверняка именно это и предполагал, тем более после моих высказываний во время обсуждения в ИИМКе его «Истории археологической мысли» [Березкин 2013]. В славословиях Клейн не нуждается, однако, закончив рецензию, я подумал, что и критика уместна лишь с оговорками. Об этом в самом конце.

Юрий Евгеньевич Березкин

Музей антропологии
и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН,
Санкт-Петербург / Европейский
университет в Санкт-Петербурге
berezkin1@gmail.com

«История антропологических учений» помимо огромного числа иллюстраций содержит 50 а.л. текста, разбитого по почти 350 небольшим разделам — каждый в форме короткого очерка. Упомянуты более 1200 персон, рассмотрены более 700 понятий и терминов. Подобная тематическая дробность и стремление охватить все понемногу есть недостаток, на котором я ниже остановлюсь. Лишь отчасти он объясним тем, что, по первоначальному замыслу, книга была скорее учебно-справочным пособием, нежели монографией. Как и все книги Клейна, «История антропологических учений» в полной мере отражает личность ее автора. Сказать, что книга вообще не про антропологию, а про Л.С. Клейна, было бы сильным преувеличением, но некоторые основания для подобного мнения все же есть. «Это моя история антропологии», — написано в авторском предисловии.

Какова же общая концепция книги, каким видит Клейн развитие антропологии?

Мне показалось, что автор пишет о постепенном, но неуклонном прогрессе человеческого (а точнее — европейского) разума, избавлении от иллюзий и предрассудков, досадных и относительно мелких помехах, временных отступлениях, но, возможно, и о фундаментальных проблемах на этом прогрессивном пути. «Показалось» — не фигура речи. Сформулировать выводы более определенно трудно по нескольким причинам.

Первая — композиция и конкретное содержание книги. Это одновременно концептуальная монография, учебник и справочник. Справочники — не для чтения, к ним обращаются по мере надобности. Учебник предназначен для первичного ознакомления с материалом, нерадивый студент просматривает его за ночь. Монография предполагает вдумчивое чтение и внимание к важнейшим вопросам. Как прикажете это все сочетать в одном тексте? Желание включить в книгу множество тем, имеющих как прямое, так и порой весьма косвенное отношение к истории антропологии, приводит к разрушению концептуальной картины. Стратегия автора плохо понятна. Ведь некоторые фрагменты нынешнего текста опубликованы в других его работах — например, те же размышления об «Илиаде». Разве они были здесь столь уж необходимы? И дело не только в перенасыщенности материалом. Сами размеры книги делают ее чересчур громоздкой — трижды подумаешь прежде, чем взять подобный том в метро или самолет.

Если бы Лев Самойлович решил отказаться от стремления завоевать читательскую аудиторию, а писал бы для избранных, вопрос о перенасыщенности материалом мог и не встать. Это публике нужен музейный зал с современным дизайном — специалисту всего любезней фонды в подвале. Однако автор

рассчитывает на публику. Только этим можно объяснить его желание облегчить усвоение материала, систематически перемежая рассказы о взглядах исследователей с подробностями их биографии. И почему нет — подобный прием в высшей степени эффективен. Вот только работает он до тех пор, пока читатель не обращает на него внимания — что-то вроде «мифа» у Р. Барта. Однако когда тот же самый прием использован десятки, если не сотни раз подряд, он становится заметен и порой начинает вызывать отторжение.

Мастерски описывая людей (неважно, соответствуют ли эти портреты оригиналам — выглядят многие очень живо), Клейн словно бы забывает, что подобные зарисовки не цель, а средство. Характерен в этом смысле раздел о Джеймсе Фрэзере. Трогательно стеснительный, в конце жизни ослепший маленький человек с верной женой, создавший «Золотую ветвь» в жанре мистического романа на основе разных источников и в основном используя чужие идеи, — вот портрет Фрэзера. Как сценарий для театральной постановки — очень ярко. Но это все? А виталистическое понимание религии? А «Фольклор в Ветхом Завете»? А прямо-таки булгаковское «за мной, читатель!» и «Прощание с Неми», сравнимое со стихами, которыми завершается набоковский «Дар»? Нельзя пройти мимо этого — иначе непонятно, чем же так задела «Золотая ветвь» Б. Малиновского или Л. Леви-Брюля. У Клейна Дж. Фрэзер попадает между А. Хэддоном и Э. Лэнгом — в общем ряду, не лучше и не хуже. Мне кажется, Лэнга (и многих других) можно было бы пропустить, а соответствующие абзацы включить в отдельную книжку — «Анекдоты об антропологах». Всем сестрам по серьгам — не самый удачный принцип организации материала. Поставленная автором книги задача соединить справочник, учебник и монографию оказалась заведомо невыполнимой.

Вторая проблема касается основной концепции книги. Лев Самойлович всегда был противником постмодернизма, и его последняя монография, как я только что сказал, — вроде бы посвящена рассказу о торжестве разума и прогрессе науки. Но в самом конце вдруг оказывается, что автор уже и не знает, плох постмодернизм или нет, нормален и ожидаем или это трагическое отклонение от прямого пути. А причины для смятения в том, что Клейн, как он пишет сам, разбирая определенные понятия, используемые археологией, обнаружил на их месте «целые пучки из синонимичных понятий», которые все — «повороты одного и того же понятия, но в разных ракурсах, разных отношениях, разных функциях». «Подобная текучесть и зыбкость понятий характерна скорее для постмодернистских исследований».

Но «зыбкость понятий» и «зыбкость выводов», «зыбкость позиций» не одно и то же. Цель науки — получение нового знания, а не методическая выдержанность соответствующих процедур. Никто не спрашивает у физиков, насколько непротиворечиво была сконструирована аппаратура, с помощью которой удалось поймать бозон Хиггса. Это серьезный инженерный вопрос, однако совершенно другого рода и уровня, нежели поставленный физиками. Если гуманитарные науки суть именно науки, а не что-то близкое философии, журналистике или литературе, то и здесь нас должен волновать прежде всего результат, а не аппаратура. Навязчивое стремление определить точное значение терминов столь же неплодотворно и, я бы сказал, схоластично, сколь и попытки непременно причислить отдельных исследователей к определенным направлениям. Например, абзац, посвященный Мэри Дуглас, у Клейна кончается так: «Пожалуй, Дуглас не столь уж далека от интеракционистской концепции Бурдьё». И что, в этом и есть сущность и ценность Дуглас? Может быть, она и не далека от Бурдьё — не берусь судить. Но это обстоятельство второстепенно для ее научной биографии и не поможет понять, чем же Дуглас интересна, каков ее вклад в антропологию. А вклад ее касается, во-первых, объяснения сущности ритуалов и, во-вторых, умного и понимающего анализа всего того, что случилось с конголезскими леле в XX в. Дуглас писала и о другом, например, почему леле не едят панголинов, а евреи — свиней. Эти ее выводы оказались довольно спорны, но вот про взаимоотношения леле с миссионерами и про роль ритуалов у пигмеев, с одной стороны, и у банту, с другой, — высший уровень и читаешь — не оторваться.

То же касается и других исследователей. О Франце Боасе Клейн пишет значительно больше, чем о Дуглас, и со сделанной в книге оценкой теоретических позиций Боаса я в основном согласен. Но неужели Лев Самойлович думает, что Боас стал бы отцом-основателем американской антропологии (а таковым он, конечно, стал), если бы просто писал теоретические статьи? Клейн пересказывает выводы Боаса относительно характера и причин распространения сходных элементов в фольклорно-мифологических текстах индейцев северо-западного побережья Северной Америки, которые были сделаны в боасовской монографии 1895 г. Вывод Клейна: «В этой работе нет ни грана эволюционизма». Нет, конечно, и слава Богу — здесь Боас оказался куда разумнее большинства интеллектуалов, занимавшихся подобной темой на протяжении почти всего XX в. Но главный вклад Боаса в антропологию — это не оценка соотношения общих элементов в фольклоре разных групп индейцев американского северо-запада, а сбор и публикация самих текстов, да еще описание ритуалов квакиутль, пусть даже в ос-

новном не по личным наблюдениям. И, конечно же, способность этого человека не просто привлечь учеников, но сделать многих из них учеными первого ранга, причем придерживавшихся разных взглядов. В этом был поразительный талант Боаса, других примеров в истории науки, по-моему, просто нет. А если уж критиковать создателя исторического партикуляризма, то как обойтись без Д. Фримена? Ведь его остро полемическая, если не сказать злобная, но хорошо написанная книга направлена не столько против М. Мид, сколько именно против Ф. Боаса. И хотя Фримен тенденциозен, поднятая им проблема «культурного редукционизма» в боасианской антропологии не была вовсе высосана из пальца.

Среди ранних учеников Боаса на первом месте стоит, естественно, А. Кребер. Чем он запомнится студентам, которые прочитают «Историю антропологических учений»? Понятно чем: «супреорганическое», «культурные конфигурации», книжка о женской моде. Но ведь сама возможность публиковать работы на подобные темы появилась у Кребера лишь потому, что он уже превратился в крупнейшего антрополога, спас от забвения и проанализировал те фрагменты культурного наследия индейцев запада США, которые еще сохранялись в начале XX в. Кребер был прежде всего ученым и лишь во вторую очередь — философом. Его историософские идеи имеют значение для истории науки, а его работа в качестве этнографа и лингвиста — для науки как таковой.

Невозможно отделить теоретический вклад от практических достижений, изучать понятийный аппарат в отрыве от задач, которым он служит. Теоретическая позиция превращается в важный фактор научной биографии ученого, если она способствует достижению новых и убедительно доказанных результатов или препятствует этому. Но случается это, по-моему, редко: я даже не могу вспомнить каких-то ярких примеров из истории археологии или этнографии. Гораздо важнее рациональность мышления, честность, настойчивость, ну и талант, разумеется. Б. Малиновский и К.Т. Пройс для меня оба — ученые высшего ранга, хотя первый создал новое направление, а второй продолжал повторять давно дискредитированные идеи М. Мюллера. Тем не менее замечательными этнографами-практиками были оба. И наоборот: о Ф. Гребнере или У. Перри мало кто сейчас вспоминает не только из-за того, что их миграционистские взгляды наука отвергла — у этих авторов не было своего поля. У патера Шмидта тоже не было, но зато он являлся лингвистом-профессионалом и послал М. Гузинде изучать огнеземельцев. Гузинде Лев Самойлович не упомянул, но некоторых других значительных исследователей из окружения Шмидта (В. Копперс, Р. Гейне-Гельдерн, К. Биркет-Смит

и пр.) перечислил. Так в чем же состоит вклад В. Шмидта в науку — в создании концепции прамонотеизма и совершенно бредовой схемы временной последовательности «культурных кругов» или в стимулировании этнографического изучения селькнам, семангов, пигмеев и эскимосов? Для меня ответ ясен, но он означает, что история антропологических учений и история антропологии / этнологии / этнографии порой не просто различаются, но диаметрально расходятся.

Особо отмечу, что соединение в одном тексте обзора становления важнейших антропологических школ с вопросами, касающимися «русской идеи» в ее советском и постсоветском исполнении, и тем более с описанием обстановки, в которой работали этнографы в СССР, малоудачно. Ну кто такая Т.Д. Соловей, зачем она в одной книге с Ф. Боасом или В. Тернером? Да и сам Ю.В. Бромлей — много лучше? Нельзя совмещать рассказ о развитии научной мысли с рассказом об интригах и способах выживания в одной отдельно взятой стране, которой не повезло. Это фигуры из разных миров и темы для разных аудиторий.

И еще несколько соображений, поводом для которых стали начальные разделы книги Клейна, но которые я давно хотел высказать, читая разные публикации, изданные в России за последние 20 лет.

Как я уже написал, книга Клейна адресована не в последнюю очередь студентам, и потому ее автор в некоторых случаях вынужден уделять место простым и даже тривиальным предметам. По тем же причинам могло возникнуть желание приблизить терминологию к знакомому потенциальной аудитории словарю. Однако архаичность трактовки некоторых тем и старомодность терминологии в ряде случаев все же вызывает недоумение. Это особенно касается тех разделов, в которых речь идет о «представлениях первобытных людей» и древнем мире. Автор использует выражения «первобытные люди» и даже «дикари» так простодушно, будто на дворе XIX в. Здесь не в политкорректности дело, а в том, что подобное словоупотребление давно уже неприемлемо по существу. Между «первобытными» и не первобытными народами нет внятной границы — ни исторической, ни социальной. Кто такие эти обобщенные первобытные люди? Приведу — совсем в духе Э. Тайлора — серию этнонимов: уйгуры, казахи, халха-монголы, буряты, якуты, манси, ненцы, юагиры, алеуты, глинкаиты. Кто здесь «первобытные», а кто нет? Не надо ломать голову — вопрос не имеет смысла.

Пример, приведенный Клейном, вовсе поразителен. «Племя сирионо в Боливии насчитывает 60 человек. С другими людьми почти незнакомо». Откуда эти данные? Общинные жилища

сирионо бывали рассчитаны на добрую сотню обитателей, и даже сейчас численность сирионо измеряется не десятками, а сотнями. Сирионо действительно мало общались с соседями, но отдельные группы людей, живущих в относительной изоляции, существовали всегда и существуют сейчас, что из этого? Если под «первобытностью» понимать эпоху, относительно которой у нас нет доказательств существования сложных обществ (т.е. ранее 12 тыс. лет назад), то так и надо сказать. Правда, здесь, по понятным причинам, невозможно выяснить, кем эти люди считали себя и соседей и насколько изолированными они себя чувствовали. Если же имеются в виду любые догосударственные или даже любые доиндустриальные общества, то зачем приводить в пример именно изоляты типа сирионо? Только потому, что по ним есть этнографические данные, а такие мощные группировки, как тапажо или тупинамба, давно исчезли? Но это значит искать потерянное под фонарем.

Тезис, будто «наивный этноцентризм первобытных людей» отражал такой фундаментальный признак эпохи, как деление на своих и чужих, а у нас соответственно дела обстоят иначе, неприемлем. Я вовсе не хочу поддержать точку зрения, согласно которой первобытность была всего лишь «изобретена», а отличия «их» от «нас» случайны, не системны и преувеличены. Само слово «первобытный» утратило терминологический смысл, но совершенно нелепо доказывать, что все культуры то ли одинаковы, то ли несопоставимы друг с другом. Межкультурные и межэпохальные различия существуют, но они велики в отношении одних параметров и незначительны в отношении других. Если мы рассматриваем такую тему, как восприятие чужого, то ссылка на то, что наши языковые предки именовали себя «говорящими», а других «немыми» (славяне и немцы), уместна в разговоре с младшими школьниками, но не с людьми, которые учатся в университете. Наше общество на порядки превосходит неолитические и тем более палеолитические общества в отношении плотности информационной среды. Токио, Лима или Кейптаун нам гораздо доступнее и понятнее, нежели в иные времена — находившаяся за лесом деревня. Изменились и нравы. Сейчас не принято жарить пленников или охотиться за головами, хотя и в прошлом такие обычаи не были распространены повсеместно. В определенном смысле почти 7 млрд землян знают друг о друге больше, нежели знали обитатели территории поперечником 500 км в отдаленном прошлом. Что мы имеем в виду, сравнивая представления о чужом в разные эпохи — эволюцию самих представлений или эволюцию параметров общества?

Невероятно, чтобы люди не видели разницы между чужаками, духами или животными. Разные категории чужих могли сли-

ваться в фольклорных текстах, но не в жизни. Если такое и бывало при первом контакте, вряд ли требовалось много времени, чтобы разобраться в обстоятельствах. Неужели кто-то еще всерьез полагает, что испанцы одолели ацтеков, потому что те приняли их за богов? Мне не вполне ясно, что Лев Самойлович имеет в виду, когда пишет, будто первобытные люди считали птиц имеющими свою речь, которая непонятна людям. Или что эти же люди верили в собакоголовых. В каком смысле считали и верили? Из фольклорных текстов такое вроде бы следует, но эти тексты не есть источник, где надо искать информацию. Достаточно многие наши современники «верят» в пришельцев или в ангелов (я таких знаю сам). Но если эти люди психически здоровы, их «вера» влияет на их дискурс, практически не затрагивая поведения. Если в средневековых трактатах пересказывались истории о людях с одной ногой или лицом на груди, то это само по себе еще не значит, что монстры воспринимались в качестве таких же обитателей реального мира, как жители соседней страны. Между сохранившимися текстами (фольклорными или письменными) и мироощущением их авторов лежит немалая дистанция. Чтобы что-то узнать об этом самом мироощущении, следовало бы не просто опросить «первобытных» или средневековых людей, но провести с ними профессиональный психологический и психиатрический эксперимент. Он невозможен. Это позволяет оставить вопрос открытым, но не позволяет писать о подобных материях как о чем-то очевидном.

Словесные штампы огорчительны больше всего. Вот как Лев Самойлович начинает раздел о Древнем Мире: «При переходе к классовому обществу, к рабовладельческим порядкам, эти первобытные этноцентрические представления о соотношениях народов были религиозно оформлены и трансформировались в учение об *избранном народе Божьем*, наиболее четко — у монотеистического народа, евреев, в Библии». Ну, разве так можно, сейчас ведь не 1970 г.! Критически относясь к советскому режиму и его последующим рецидивам, Клейн словно не в силах оторваться от словоупотребления той эпохи. При чем тут переход к классовому обществу и тем более к «рабовладельческим порядкам»? Такие «порядки» были в Афинах и Риме, кто же спорит. Но они были и у тлинкитов или кадьяхцев, и не надо думать, что положение рабов на юге Аляски было лучше, чем в Эгеиде во времена Аристофана. Никакое это не мягкое патриархальное рабство — могли запросто убить ни за что, а то и в огонь бросить. Классовое общество? Стратифицированное — наверное, но о каких «классах» идет речь в «Книге Чисел»? Когда в Иудее и Самарии появляются археологические памятники, которые можно интерпретировать как свидетельствующие о существовании государства? Не во времена

Моисея или хотя бы Давида, а не раньше VII в. до н.э. И о какой «первобытности» опять-таки идет речь, где эта первобытность кончается? Мне трудно сказать, насколько хорошо Клейн знает археологию Древнего Востока (в общем и целом Наверняка знает). «Рабовладельческие порядки» в связке с «избранным народом» — это результат не недостаточной информированности, а использования застывших и омертвевших словесных формул, за которыми давно уже ничего не стоит.

Вот еще в том же роде: «Вытеснение крестоносцев из Палестины несколько расшатало представление европейцев о безусловном превосходстве их собственной культуры и религии над всеми другими». Что значит «расшатало», что значит «безусловном» и расшатало ли? Какие конкретно факты об этом свидетельствуют? Может быть, все так и есть, но подобные заявления требуют доказательств. Я не специалист по истории крестовых походов, но про взаимоотношения европейцев с американскими аборигенами знаю немного больше, и здесь у меня есть вопросы.

Клейн пишет, что «географические открытия взломали представления европейцев о человеке. До сих пор другие люди были еретиками или иноверцами, но дикими они не были. Теперь были открыты люди (по внешним признакам), но близкие к животным (по оснащению и поведению)». Это не так, все обстояло сложнее. Решение Папы признать за индейцами статус людей положило конец спорам о том, люди индейцы или не совсем люди. Испанские авторы XVI—XVII вв. вовсе не уподобляли индейцев животным. Уже сам факт того, что испанская корона наделяла дворянским достоинством всех представителей индейской знати в случае принятия ими христианства, говорит о многом. За некоторыми группами закрепилась дурная слава жестоких людоедов, но речь шла о невежестве и пороках, а не о биологической неполноценности. Из кого, как не из отпетых людоедов (гуарани), иезуиты стали лепить в Парагвае подданных грядущего мирового государства? Неуверенность относительно того, кем являются обитатели Эспаньолы и Пуэрто-Рико, ограничилась временем первых плаваний Колумба. Далее же происходило обратное: испанцы в упор не замечали своеобразия индейских культур. Их словесные описания бывали достаточно точными, но рисунки — почти никогда. Бернардино де Саагун — едва ли не единственное исключение, для Южной Америки сопоставимой фигуры нет. Рисуя Куско и Теночтитлан, художники окружали эти города средневековыми стенами и заполняли домами, уместными в Толедо или Саламанке, но никак не в Новом Свете. Открытие Америки поразительно мало повлияло на духовную жизнь Европы, мусульмане оставались неизмеримо важнее. Про Африку и говорить не

приходится, ибо купцы не покидали прибрежных факторий и не интересовались, кто именно приводит рабов в обмен на привезенные из Европы ткани. Понемногу копившиеся сведения о неевропейских народах сыграли огромную роль в формировании антропологии, но случилось это лишь в XVIII в. Именно тогда европейцы всерьез обратились к размышлениям о разнообразии культур и происхождении социальных институтов. И главную роль сыграло развитие идей в самой Европе, а не рассказы воинов, миссионеров, моряков и купцов об экзотических странах.

Я остановился на разделах о предыстории антропологии не потому, что они занимают существенное место в работе Клейна. Дело в другом. Когда Лев Самойлович пишет о предметах, которыми он специально не занимался, он, к сожалению, готов повторять старые и малоинтересные штампы. Это плохо. Нынешние студенты, может быть, и не отличают Юньнань от Сычуани, эректусов от неандертальцев или Платона от Плотина, но что мир сложен, об этом они, скорее всего, догадываются. Поэтому им нельзя говорить, что раньше было А, а теперь стало Б — не поверят.

Бездумное воспроизводство чьих-то формулировок — одна из самых опасных тенденций в науке. За каждое слово автор несет ответственность и должен быть готов оправдать свой выбор. Порой требуются огромные усилия, чтобы помочь начинающим исследователям избавляться от штампов. Неужели на тех, чья первая или даже большая половина жизни прошла в ином мире, его нормы и правила наложили неизгладимый отпечаток?

Но хватит придирааться. В начале рецензии я написал, что критиковать Льва Самойловича — не слишком правильное занятие. Я имел в виду следующее. Принятие или непринятие тех или иных сделанных Клейном выводов и оценок определяется не его частными удачами или огрехами. Дело в другом: Клейн — фигура мощная и трагическая. Трагедия состоит в некогда совершенной им экзистенциальной ошибке — развитие науки есть, якобы, развитие идей. Да, конечно, не формулируя теорий, невозможно осмыслить и структурировать знание, но в этом тандеме не идеи, а конкретное знание логически стоит впереди. Нельзя создать образ мира, используя набор кубиков: даже если добиться значительного внешнего сходства, образ не оживет, а его создатель уподобится Каю у Снежной Королевы. Пытаясь проследить развитие антропологии (или археологии) как развитие и смену идей, Клейн конструирует модели, для которых в реальности нет и не может быть близких прототипов. Важное становится незначительным, второстепенное выходит на первый план. Ибо какие особенно идеи у Фрэзера и даже

у Боаса? А вот у патера Шмидта и Гребнера их было много. Лев Самойлович оказывается настолько погруженным в свой мир, что при соприкосновении с миром конкретных знаний теряет под ногами почву там, где проходят, не падая, гораздо менее талантливые и эрудированные исследователи. Отсюда, наверное, «первобытные люди» и «рабовладельческий строй», о которых было сказано.

Многие хорошо помнят серию лекций Клейна в Институте лингвистических исследований, посвященных проблемам расселения индоевропейцев. Первая лекция была посвящена теории — блестяще. Вторая — расселению иранцев с отождествлением срубной культуры с западными иранцами, а андроновской — с восточными (или наоборот — неважно). При этом были нарушены абсолютно все методические требования к исследованиям подобного рода, которые сам Лев Самойлович изложил неделю назад.

Войдет ли Лев Самойлович в историю российской науки и Санкт-Петербурга? Наверняка. Моя уверенность основана не на содержании его книг. Одни выводы меня убеждают, другие — нет, но в любом случае я не специалист ни в вопросах происхождения индоевропейцев, ни в гомеровском эпосе, ни в разработке классификаций, основанных на точности употребления терминов и формальной логике. Я надеюсь, что в моей рецензии изложена правда. Но не вся правда. Лев Самойлович — это прежде всего незаурядная, точнее совершенно уникальная личность. Каждый из нас на протяжении десятилетий испытывал влияние этого человека. Само его появление в библиотеке, на обсуждении чьей-нибудь диссертации или даже в просто в коридоре ИИМКа всегда заметно — смотрите, вон Клейн! И это обстоятельство служит дополнительным доводом против подхода Клейна к своему материалу. Как невозможно объективно измерить влияние Клейна на нас, а часто и определить направление такого влияния, так невозможно в точности установить, кто и как повлиял на классиков антропологии и что они в точности думали по разным поводам. Заниматься подобной темой не бесполезно, но она не самая важная. История идей — это скорее введение к истории науки, нежели подведение итогов.

Библиография

Березкин Ю.Е. Обсуждение книги Л.С. Клейна «История археологической мысли» на методическом семинаре ИИМК РАН // Российский археологический ежегодник. 2013. № 3. С. 588–593.

Юрий Березкин